

6. Humbert B. E. De La Lettre à L'écran: Les Liaisons Dangereuses. Amsterdam, Editions Rodopi B. V., 2000. 268 p.
7. Lefere R. Les Liaisons dangereuses cinématographiées: odalities d'un retour au passé // Retour au XVIIIe siècle. Bruxelles, Édition de l'université de Bruxelles, coll. Études sur le XVIIIe siècle, 1994. P. 137–145.
8. McCallam D. L'art de l'équivoque chez Laclos. Genève: Droz, 2008. 176 p.
9. Lee Yunsoo. La postérité des Liaisons dangereuses: Roman, théâtre, cinéma; thèse de doctorat sous la direction de Michel Delon. Paris 4, 2011. 698 p.

*E. A. Жеребина*

### ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СКЕПСИСА В ЛИНГВОФИЛОСОФИИ РАННЕГО МОДЕРНИЗМА

*Философия эпохи модернизма характеризуется повышенным интересом к лингвистической проблематике. Постоянная рефлексия о роли и функциях языка принимает самые различные формы. С одной стороны, это радикальный нигилистический скепсис, с другой — попытки преодоления кризиса языка через концепцию «всеединства» и поиск «истинного языка» с новыми выразительными возможностями. Осознание неспособности естественного языка быть авторитетным посредником между познающим субъектом и предметным миром отражает экзистенциальную покинутость человека — одно из ведущих ощущений эпохи. В статье рассматриваются взгляды на проблему языка Ф. Ницше, Ф. Маутнера; особое внимание уделяется творчеству Гуго фон Гофманстала.*

**Ключевые слова:** кризис языка, эпоха модернизма, критика языка, поэтический язык.

*E. Zherebina*

### The Problem of Linguistic Skepticism in the Philosophy of Early Modernity

*The philosophy of the modernity is characterized by an intense interest in the linguistic perspective. The constant reflection about the language role and functions takes quite various forms. On the one hand, there is a radical nihilistic skepticism; on the other hand, there are some attempts of overcoming the crisis of language through the concept of “absolute unity” and searching of «genuine language» with new expressive means. The recognition that natural language cannot be an authoritative intermediary between a cognitive subject and the objective world reflects the existential uncertainty of an individual, which is one of the basic sensation of the epoch. The article examines some views on the language problem of F. Nietzsche, F. Mauthner, paying special attention to the writing of Hugo von Hofmannsthal.*

**Keywords:** crisis of language, modernity, criticism of language, poetic diction.

Философия эпохи модернизма обращает пристальное внимание на проблемы «языкового существования» [1], ей присуща непрерывная языковая рефлексия на формальном и содержательном уровне. Осознание

неспособности естественного языка быть авторитетным посредником между познающим субъектом и предметным миром отражает экзистенциальную покинутость человека — одно из ведущих ощущений эпохи.

Историческая и природная реальность уже не воспринимается как выражение деятельности универсального разума, а кажется хаотичной и лишенной смысла. Модернистская поэзия декларирует себя как тайный, герметичный язык. Невнятность и загадочность высказываний, родившихся в попытке найти новые выразительные средства, порождает сомнение в самой возможности их понимания, как и сомнение в способности языка создать истинную реальность.

Конфликт жизни и формы, сформулированный Георгом Зиммелем, пронизывает культуру рубежа веков. Этот конфликт мы находим в антитезе дионисийского и аполлонического начал у Ницше и в антитезе воли и индивидуальных представлений Шопенгауэра. Именно тут заложены причины того глубокого недоверия к слову, которым отмечена вся культура конца XIX и начала XX в.

Повышенный интерес к лингвистической проблематике и скептическая рефлексия о роли и функциях языка принимает в эпоху модернизма различные формы [4, с. 247]. С одной стороны, это критика отдельных явлений конкретного исторического периода, которая призвана очистить язык, испорченный многочисленными искажениями, и превратить его в истинный язык, восстановить его «врожденную правду» (Карл Краус). «Чистый» язык способен элиминировать ложь, стать правдивым «зеркалом мира». Именно в упадке, вырождении языка Краус усматривал ужасающие симптомы кризиса современного общества, «дело гниет с языка, время протухает с фразы» [8, с. 36].

С другой стороны, это радикальный гносеологический скепсис, который утверждает, что язык искажает восприятие действительности и должен быть устранен, если мы желаем установить истину. Фриц Маутнер, главный представитель этого направления, утверждал, что язык должен отказаться от притязаний на адекватное отражение действительности, поскольку он является лишь величественной игрой, автономной

реальностью, не способной устранить непонимание между людьми [10]. Язык отражает мировоззрение говорящего на нем общества, господствует над индивидом и не может служить инструментом объективного познания мира. Маутнер понимает освобождение от языка в качестве «высшей цели самоосвобождения» для человека [3, с. 76].

Между этими двумя полюсами находится множество точек зрения, менее злободневных и менее радикальных. Одной из ведущих является поэтологическая концепция языка, которая уходит своими корнями в эпоху романтизма. Мы можем видеть ее и у Новалиса, и у Р.-М. Рильке, и у Гуго фон Гофмансталя. Согласно этой концепции, поэтическое слово способно достичь вершины, не доступной повседневному языку. Именно эту форму языковой рефлексии чаще всего упрекают в перформативном противоречии. Лорд Чэндос, повествователь «Письма» Гуго фон Гофмансталя, разочаровывается в посреднической функции языка, отказывается от литературной деятельности, осознав бессилие языка. Однако свои сомнения он вынужден выражать в вербальной форме. Это неразрешимое противоречие не позволяет интерпретировать «Письмо» ни как «манифест поэтической немоты», ни как «проповедь “нового языка”, непосредственно отражающего действительность» [6, с. 103]. Однако когда лорд Чэндос говорит о «волшебных словах», которые могли бы «одолеть тех херувимов, в которых он не верует» [2, с. 526], он стремится преодолеть бессилие языка, найти тот новый поэтический язык, который позволит выразить невыразимое. Апофатический язык, способный отождествить слово и вещь, приобретает исключительный статус посредника, способного вернуть познающему субъекту устойчивость в непознаваемом мире, назвать и тем самым создать новую реальность, обладающую онтологическим бытием.

Говоря о специфике языкового скепсиса в этот период, следует учитывать не только

очевидные философские предпосылки (например, работы Эрнста Маха или Фридриха Ницше), но и возникшие в тех исторических условиях альтернативы вербальному языку, тягу к метафизическим решениям; сюда относятся такие иррационалистические концепции, как «интуитивизм» или «мистический реализм».

Кризис веры в могущество языка, отражающий кризис усомнившегося в себе сознания, эстетическая и философская мысль того времени пытается преодолеть разными путями и, прежде всего, актуализацией мистических настроений — теургическая идея, ценность мистического откровения и интерес к оккультизму. Работа Густава Ландауэра, последователя Фрица Маутнера и приверженца мистического учения Майстера Экхарта, «Скепсис и мистика. Опыты о критике языка Маутнера» (1903) представляет собой очередную попытку найти универсальное решение проблемы: «Мистика опережает критику языка и становится посредником между новым самосознанием и действительностью» [9, с. 137]. Речь не может служить нам в понимании и присвоении мира, эта роль отведена мистическому прозрению.

Эти тенденции, охватывающие диапазон от крайнего скепсиса до воодушевляющего предчувствия нового откровения, отражают попытки преодоления возникшего кризиса языка. Они находят свое отражение в рамках литературного контекста эпохи раннего модернизма — в произведениях Рильке, Героге, Гофмансталя, Музиля. Несмотря на все различия, речь здесь идет о разрушении парадигмы инструментального понимания языка и — шире — о разрушении смысловой модели, которая реализуется в натуралистической и позитивистской традиции. Критика языка выступает как критика анализа, рационализма, разобщенности, как критика Нового времени. Кризис языка в полной мере отражает кризис и дезориентацию сознания на переломе эпох. Связи, скрепляющие ткань языка, оказываются та-

кими же непрочными, как и утратившая свою целостность картина мира.

Очевидные параллели прослеживаются между началом XX и началом XIX века, когда языковая рефлексия достигла нового уровня по сравнению с предыдущими достижениями в этой области. Так же, как и в 1900-е годы, в начале XIX века критика языка являлась противоборствующей тенденцией к рационалистической модели сознания и была связана с идеями всеединства, новой коллективной мифологии, с идеей непосредственного мистического прозрения. Идеи Гумбольдта в начале XX века все еще остаются актуальными, эта преемственность выражается в эпоху модернизма, прежде всего, в понимании языка как самостоятельной силы, деятельности (*Energeia*).

Однако оценки и трактовки имеют, конечно, существенные различия, поскольку, например, между Новалисом и Фридрихом Ницше лежит целое столетие научно-технического прогресса, развития языкознания и естественных наук.

Ницше, так же как и Новалис, говорит о пропасти между языком и действительностью. Однако Ницше оценивает язык критически, утверждая неспособность языка отобразить сущность вещей и подчеркивая фальсифицирующую сущность языка [11]. У Новалиса осознание той же пропасти ведет к оптимистическому утверждению о возможности ее преодоления и обретения высшей истины в процессе творческого акта [12].

Обе эпохи понимали язык как автономную реальность, как нечто, способное навязать свою волю. «Можно только удивляться смешной ошибке людей, которые думают, что говорят, имея в виду сами вещи. Суть же языка, заключающаяся в том, что он заботится только о себе, неизвестна никому...» Говорящий субъект — всего лишь маска, надетая единственным и постоянным субъектом высказывания — самим языком. «Может быть, этот речевой импульс, побуждение к говорению является верным

признаком вторжения языка в меня, его воздействия на меня?» [12, с. 203].

Но если для романтиков язык — средство проникновения в тайны «незримого мира», а слова — символы бесконечного, доверившись которым возможно постичь истинную реальность, то философы рубежа XIX–XX веков острее чувствуют принудительный характер языка, видят язык скорее враждебной, разобщающей силой.

В ранней работе Ницше «Об истине и лжи во неморальном смысле» им ставятся традиционные для лингвофилософии вопросы: «Как обстоит дело с условностями языка? Являются ли они результатами познания и чувства истины? Соответствуют ли обозначения вещам? Является ли язык адекватным выражением реальности?» [11]. Отвечая на эти вопросы, Ницше стремится доказать несоответствие слова и вещи, познания и сущности вещей, непостижимость действительности средствами языка. «Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле мы обладаем лишь метафорами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным сущностям» [11, с. 370]. Утверждение о том, что «слова никогда не соответствуют истине», Ницше доказывает также и наличием разных языков, в каждом из которых вещи обозначаются по-разному. Мир поэзии, в которой воплощается весь «блеск метафорического мирозерцания» [11, с. 379], — такая же иллюзия, как и мир научных понятий. И хотя поэтическое слово способно сотворить новую реальность, она все так же не будет истинной, она станет новой иллюзией. Однако, понимая язык как явление, скрывающее истину, а не отражающее ее, Ницше не утверждает необходимость избавления от языка и его власти. Невозможно прорваться к сущности вещей, так же как невозможно дать им «верное» наименование. У нас нет инструмента ни для того, ни для другого. Путь преодоления этого радикального скепсиса в отношении языка

обнаруживается у Ницше только позднее, в его знаменитом произведении «Так говорил Заратустра», где он предпринимает попытку создать текст, иллюстрирующий возвращение языка к природе образности. «Искусство говорить» Заратустры выступает как наглядный процесс «переоценки всех ценностей», освобождение словесного творчества от рабской подчиненности понятийному мышлению, текст, где слово получает онтологическое значение, не переставая быть при этом иллюзией.

Язык затрудняет проникновение в суть вещей, является тюрьмой, в которой заключен субъект, стертой метафорой, которая скрывает истинное знание о мире и делает любую истину относительной. Из этого положения следуют разнообразные попытки выйти за границы языка, и особое значение придается тогда молчанию и невербальному мистическому чувству.

«Письмо» Гуго фон Гофмансталя, написанное от лица лорда Чэндоса, — один из важнейших текстов раннего европейского модернизма, ставящий проблему кризиса языка. Лорд Чэндос — поэт, осознавший бессилие речи и утративший способность выражать свои мысли. Этапы его духовного пути повторяют характерную для философии немецкого идеализма триаду: первоначальное единство — отчужденность — вновь обретенное единство, что соответствует этапам священной истории: рай — грехопадение — небесный Иерусалим.

Лорд Чэндос вспоминает о своих ранних произведениях и о своем душевном настрое, проникнутом юношеским восторгом и самолюбованием. Его монистическое мировоззрение в духе йенского романтизма в этот момент вполне очевидно: «Одно было равно другому, и в том, и в другом в равной мере были и неземная греза, и власть плоти» [2, с. 521]. И «пенящееся парное молоко» обладает для него той же ценностью, что и «пенящийся, сладкий нектар духа», найденный им в каком-нибудь фолианте. Поэт видит себя средоточием Вселенной

(«Во всей природе мне мерещилось мое собственное отражение») и чувствует в себе способность проникнуть в ее тайны: «Иной раз мне чудилось, что все вокруг — лишь некая притча и во всяком творении скрыт ключ к другому, и я мнил себя способным завладеть этим ключом и отомкнуть им столько тайн, сколько будет возможно» [2, с. 521].

Момент, когда лорд Чэндос теряет веру в божественный промысел и предустановленное всеединство, становится началом душевного кризиса и добровольного поэтического безмолвия. Номиналистический скепсис разъедает его сознание подобно ржавчине [2, с. 523]. Он теряет способность «связно излагать» [2, с. 522], и его попытки вернуть словам утраченный смысл оканчиваются поражением — чем сильнее он этого жаждет, тем дальше отодвигается цель: «Стоит мне протянуть руки, как ветвь с желанным плодом уходит вверх, стоит приблизить жаждущие уста, как вода с журчанием отбегает прочь» [2, с. 522].

Это высказывание — очевидная аллюзия на миф о Тантале, любимце богов, усомнившемся в их могуществе и обреченном испытывать вечные муки в подземном царстве. В «Письме» встречается несколько упоминаний античной мифологии: это и Нарцисс, обратившийся в цветок, и Актеон, ставший оленем, и окаменевшая Ниоба, и Протей, предсказывающий будущее и вечно меняющий свой облик, и Персей, обращавший врагов в камень при помощи головы Медузы Горгоны — образы, связанные с мотивом превращения живого в неживое (см. о мифологическом субтексте «Письма» [5, с. 124]. Язык, который был призван отражать во всей полноте изменчивую картину мира, превращается для автора письма в бессмысленный набор мертвых слов.

Как Тантал перед недостижимыми плодами или как падший Адам перед закрытыми райскими вратами и стоит лорд Чэндос перед тайной языка. Миф о Тантале расшифровывает причину постигшей поэта духовной

трагедии — высокомерная вера в то, что он способен проникнуть в тайну божественного замысла, наказываемая бесконечными муками немоты, созерцанием бесполезной сокровищницы слов, каждое из которых ничего не выражает. «Я испытывал необъяснимое раздражение от одного произнесения слов “идеал”, “душа”, “тело”. <...> ...абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, у меня на языке распадались, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы» [2, с. 522]. «Грехопадение» и тоска по утраченному раю повергают лорда Чэндоса в «крайнее смирение и бессилие» [2, с. 522]. Когнитивные категории и предметный мир сужаются до номиналистического восприятия, утрачивают внутренние связи. «Все распадалось у меня на части, эти части — снова на части, и никакое понятие не могло скрепить их. Вокруг меня было много отдельных слов, они сворачивались в студенистые комочки глаз, упорно глядевших на меня, а я вглядывался в них: они были как воронки водоворота, глядя в которые ощущаешь дурноту, а они все кружатся и кружатся, а за ними — пустота» [2, с. 523]. О словах как о лишенных смысла условностях говорит и Ницше: язык — это «метаморфозы, которые уже истрепались и стали чувственно бессильными; моменты, на которых стерлось изображение и на которые уже смотрят не как на монеты, а как на металл» [11, с. 379], и хотя Гофмансталь не знал этого текста Ницше [7, с. 183], скептическое настроение лорда Чэндоса очень близко к настроению автора «Об истине и лжи...». И всемогущество творца, к которому стремился юный лорд, надеясь при помощи слова постичь тайны мира, находит свое отражение в рассуждениях Ницше о людском высокомерии, связанном со способностью познавать и чувствовать, вследствие которого вещи получают лишь произвольные обозначения, лишенные даже намека на истинность.

Повествуя о своей «болезни духа», лорд Чэндос не углубляется в умозрительные

рассуждения, на которые он уже не способен, а регистрирует физиологические симптомы — при попытке говорить он чувствует себя нездоровым, испытывает приступ головной боли, бледнеет [2, с. 522]. Привычный, утративший теперь смысл язык выступает как враждебная сила, которая подавляет дух и тело.

Болезнь человека эпохи модернизма, от которой страдает лорд Чэндос, — это утрата языка как способа толкования действительности. В своей гордыне возмнив себя творцом, поэт падает в бездну отчаянья, когда оказывается неспособным преобразить действительность с помощью слова. Язык превращается для него в бессмысленный набор инструментов, которыми он не может воспользоваться, и он ищет выход в мистическом чувстве.

Попытка секуляризировать божественное откровение и превратить его в поэтическую аллегория оказалась безуспешной. На смену нарциссическому самолюбованию приходят «животворные мгновения» [2, с. 524], которые несут в себе не рациональное знание, а «волну божественного одухотворения» [2, с. 526], «прикосновение бесконечности» [2, с. 525]. Лорд Чэндос ощущает «осязаемую полноту любви» [2, с. 526], прозревая ее в самых обыденных вещах: «Этим сосудом откровения может стать все: забытая лейка, брошенная на пашне борона, собака, греющаяся на солнце, убогое кладбище, калека, крестьянская хижина...» [2, с. 524]. Через утрату языка «гордая воля гения к обладанию миром сменяется смиренным восприятием веяний мировой жизни, и личное Я предстает лишь как один из многих символов бесконечного, наравне с самыми скромными предметами и явлениями окружающей природы» [13, с. 281].

И в эти «животворные мгновения» лорда Чэндоса охватывает мимолетное предчувствие появления тех новых, полных глубокого смысла слов, которые смогли бы «заставить херувимов спуститься на Землю»

[2, с. 527]. Образ херувимов — если интерпретировать их как ангелов, охраняющих райские врата, — становится в «Письме» символом обновления, обретения божественной благодати и преодолением противоречия между субъектом и миром. «Я» и мир воссоединяются в новом всеединстве, где язык не отделен от субъекта и не обладает больше вспомогательной, инструментальной функцией. Сам субъект становится языком, в котором заключена «бесконечная совокупность шифров, открывающих вселенную» [2, с. 526]. Лорд Чэндос описывает этот язык как «не латинский, не английский, итальянский или испанский, это язык, слова коего мне неведомы: на нем говорят со мной немые вещи и на нем, должно быть, некогда по ту сторону могилы мне предстоит дать ответ невидимому Судие» [2, с. 528].

«Письмо» написано в августе 1902 года, когда Гофмансталь прочел некоторые сочинения Фрэнсиса Бэкона в только что вышедшем новом издании. Бэкон — один из крупнейших представителей философии Нового времени, наряду с Кеплером, Декартом, Галилеем определил развитие целой эпохи, провозгласил эксперимент главным методом познания. Его рассуждения о возможностях познания чувственного мира, об адекватности языкового отображения действительности оказались исключительно актуальными в кризисную эпоху рубежа XIX и XX веков. Воодушевление от достижений естественных наук и технического прогресса в этот период парадоксальным образом соседствуют с идеями гибели мира и заката культуры, а просветительский оптимизм и вера в безграничные возможности человеческого разума — с представлением о фатальном бессилии человека перед иррациональным, непознаваемым миром. Это разочарование в философской традиции рационализма, представителем которой был Фрэнсис Бэкон, звучит в письме его современника лорда Чэндоса, отражая кризис картины мира Нового времени, которую Макс Вебер характеризовал как

«снятие чар с мира (Entzauberung der Welt)» (цит. по: [7, с. 193]. Автор письма проходит тот же путь — от латинских трактатов по философии и истории, замыслов по созданию книги афоризмов и поэм на античные мотивы до отчаянья, экзистенциального кризиса и поэтической немоты.

Однако, красноречиво обличая беспомощность понятийного языка, не соответствующего сути вещей, лорд Чэндос предстает в конце новеллы не разочарованным скептиком, а воодушевленным поэтом, ко-

торый предчувствует появление нового языка с новыми выразительными возможностями, хоть слова этого языка еще ему невнятны. Эта романтическая утопическая мечта об истинном языке, на котором заговорит будущая поэзия, является обратной стороной радикального языкового скепсиса. Чем выше предъявляемые к слову требования, чем сильнее критика, тем утопичнее и фантастичнее надежда, возлагаемая на обновленный, подаренный мистическим откровением язык.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гаспаров Б. М.* Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования // НЛЮ. М., 1996. Вып. IX.
2. *Гофмансталь Г.* Избранное. М., Искусство: 1995.
3. *Соболева М. Е.* Философия как «критика языка» в Германии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.
4. *Arzten, Helmut.* Sprachdenken und Sprachkritik // Jahrhundertwende: Vom Naturalismus zum Expressionismus. 1880–1918, Hg. von Frank Trommler, Reinbek bei Hamburg, 1983.
5. *Braungart, Georg.* Die Fremdheit der Sprache am Beginn der Moderne: Lebenskult, Ritual, Remythisierung, Mystik // H. Birus. Germanistik und Komparatistik. Stuttgart; Weimar, 1995.
6. *Göttsche, Dirk.* Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa. Fr. a. M.: Athenäum, 1987.
7. *Kiesel, Helmuth.* Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. C. H. Beck, 2004.
8. *Kraus, K.* Über die Sprache. Glossen, Aphorismen und Gedichte. Auswahl und Nachwort v. Heinrich Fischer. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987.
9. *Landauer, Gustav.* Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluß an Mauthners Sprachkritik. Wetzlar, Büchse der Pandora, 1978.
10. *Mauthner, Fritz.* Die Sprache. Fr. a. M.: Keip, 1974.
11. *Nietzsche Friedrich.* Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne // Werke. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung, zweiter Band: Nachgelassene Schriften 1870-1873. Berlin; NY: De Gruyter 1973.
12. *Novalis.* Monolog: Fragmente II. Heidelberg, Schneider, 1957.
13. *Zerebin A.* Subjekt der Moderne: Hugo von Hofmannsthals „Chandos-Brief“ und die russische Philosophie der konkreten All-Einheit // Eigen- und fremdkulturelle Literaturwissenschaft / Dirk Kemper... (Hrsg.). München [u. a.], Fink, 2011.

### REFERENCES

1. *Gasparov B. M.* Jazyk. Pamjat'. Obraz. Lingvistika jazykovogo sushchestvovaniya // NLO. M., 1996. Vyp. IX.
2. *Gofmanstal' G.* Izbrannoe. M., Iskusstvo, 1995.
3. *Soboleva M. E.* Filosofija kak «kritika jazyka» v Germanii. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2005.

4. *Arnzten, Helmut*. Sprachdenken und Sprachkritik // Jahrhundertwende: Vom Naturalismus zum Expressionismus. 1880–1918, Hg. von Frank Trommler, Reinbek bei Hamburg, 1983.
5. *Braungart, Georg*. Die Fremdheit der Sprache am Beginn der Moderne: Lebenskult, Ritual, Remythisierung, Mystik // In: *H. Birus*. Germanistik und Komparatistik. Stuttgart; Weimar, 1995.
6. *Göttsche, Dirk*. Die Produktivität der Sprachkrise in der modernen Prosa. Fr. a. M.: Athenäum, 1987.
7. *Kiesel, Helmuth*. Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. C. H. Beck, 2004.
8. *Kraus, K.* Über die Sprache. Glossen, Aphorismen und Gedichte. Auswahl und Nachwort v. Heinrich Fischer. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1987.
9. *Landauer, Gustav*. Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluß an Mauthners Sprachkritik. Wetzlar, Büchse der Pandora, 1978.
10. *Mauthner, Fritz*. Die Sprache. Fr. a. M.: Keip, 1974.
11. *Nietzsche Friedrich*. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne // Werke. Kritische Gesamtausgabe. Dritte Abteilung, zweiter Band: Nachgelassene Schriften 1870–1873. Berlin; N.Y.: De Gruyter, 1973.
12. *Novalis*. Monolog: Fragmente II. Heidelberg, Schneider, 1957.
13. *Zerebin A.* Subjekt der Moderne: Hugo von Hofmannsthals “Chandos-Brief” und die russische Philosophie der konkreten All-Einheit // Eigen- und fremdkulturelle Literaturwissenschaft / Dirk Kemper... (Hrsg.). München [u. a.], Fink, 2011.